



**К. Н. ЛЕОНТЬЕВ**

**Страх Божий и любовь к человечеству  
По поводу рассказа гр. Л. Н. Толстого «Чем люди живы?»**

Это небольшое произведение гр. Л. Толстого — явление весьма характерное и довольно серьезное. Характерно оно потому, что в нем яснее прежнего выразился взгляд автора на христианскую мораль... Нечто подобное проповедовал, положим, и Левин в последней части «Анны Карениной»... Но мы не имеем права решительно отождествлять Левина с самим гр. Толстым. Все мнения героя романа, хотя бы и с некоторою любовью изображенного, мы не имеем основания приписывать автору этого романа. Однако, если обратить внимание на то, что в «Войне и мире» и других прежних произведениях гр. Толстого эта черта была гораздо менее заметна, чем в рассуждениях Левина\*, и стала совершенно ясна позднее по многим, более или менее всем известным данным и, между прочим, уже по одному выбору эпиграфов в этом последнем рассказе, то я думаю, что есть достаточный повод заняться им, так сказать, специально, несмотря на его небольшой размер и кажущуюся невинность.

<...>

За последнее время стали распространяться у нас проповедники того особого рода одностороннего христианства, которое можно позволить себе назвать христианством «сантиментальным» или «розовым».

Этот оттенок христианства очень многим знаком; эта своего рода как бы «ересь», не формулированная, не совокупившаяся в организованную еретическую общину, весьма, однако, распространена у нас теперь в образованном классе.

Об одном умалчивать, другое игнорировать, третье отвергать совершенно; иного стыдиться и признавать святым и божественным только то, что наиболее приближается к чуждым Православию понятиям европейского утилитарного прогресса, — вот черты того христианства,

---

\* В последней части «Анны Карениной».

которому служат теперь, нередко и бессознательно, многие русские люди и которого, к сожалению, провозвестником в числе других явился, на склоне лет своих, и гениальный автор «Войны и мира»!..

От его дарований можно было бы ожидать чего-нибудь поглубже и посамобытнее!..

## I

Итак, «Чем же люди живы?» Какое же содержание этой популярной повести?

Эта повесть есть не что иное, как история Ангела, наказанного Богом за ослушание. <...> Он согрешил только несколько гордым милосердием, если можно так выразиться. Под влиянием сострадания он на минуту забыл страх Божий и задумал быть милостивее Самого Бога. Бог послал его взять душу бедной одинокой крестьянки, которая только что родила двух девочек. Несчастливая стала просить Ангела, чтобы он не брал от нее душу, потому что сирот некому будет выкормить и обдумать. Ангел послушался ее — и за это наказан. Бог все-таки послал его назад взять душу родильницы, и при этом она, умирая, упала на одну из девочек и вывернула ей ногу так, что девочка осталась навсегда хромою. Сам же Ангел за это самое проявление любви и сделан был на время беспомощным человеком. Пред концом его жития у сапожника пришла к ним хорошо одетая женщина с двумя девочками. «Девочки в шубках, в платочках ковровых; одна в одну, разузнать нельзя. Только у одной левая ножка покорооче: идет, припадает». Женщина пришла заказать девочкам кожаные башмачки. Потом женщина разговорилась и стала рассказывать: «Годов шесть, — говорит, — тому дело было, в одну неделю обмерли сиротки эти: отца во вторник похоронили, а мать в пятницу померла. <...>

Одна родила и померла. Пошла я наутро проведать соседку; прихожу в избу, а она, сердечная, уж и застыла. Да как помирала, завалилась на девочку. Вот эту задавила — ножку вывернула. Собрался народ, обмыли, спрятали, гроб сделали, похоронили. Всё добрые люди. Остались девчонки одни. Куда их? А я из баб одна с ребенком была. Первонького мальчика восьмую неделю кормила. Взяла их до времени к себе. Собрались мужики, думали-думали, куда их деть, да и говорят мне: “Ты, Марья, поддержи покамест девчонок у себя, а мы, дай срок, их обдумаем”. А я разок покормила грудью пряминькую, а эту раздавленную и кормить не стала. Не чаяла ей живой быть. Да думаю себе, за что ангельская душка млеет, жалко стало и ту, стала кормить, да так-то одного своего да этих двух-троих грудью и выкормила. Молода была, сила была, да и пища хорошая. И молока столько, Бог дал, в грудях было, что зальются бывало. Двоих кормлю бывало, а третья ждет. Отвалится одна, третью возьму. Да так

Бог привел, что этих выкормила, а своего по второму годочку схоронила. И больше Бог детей не дал. А достаток прибавляться стал. Вот теперь живем здесь на мельнице у купца. Жалованье большое, жизнь хорошая, а детей нет. И как бы мне жить одной, кабы не девчонки! Как же мне их не любить! Только у меня и воску в свече, что они».

Прижала к себе женщина одною рукой девочку хроменькую, а другою рукой стала со щек слезы стирать и вздохнула. Матрена и говорит: «Видно, пословица не мимо молвится: без отца-матери проживут, а без Бога не проживут».

Говорят они так промеж себя, и вдруг как зарница осветила всю избу от того угла, где сидел Михайла. Оглянулись все на него и видят: сидит Михайла, сложив руки на коленках, глядит вверх, улыбается».

Таково содержание этой прекрасной повести. Высокое, трогательное и местами слегка забавное, изящное и грубое — все это сплетается одно с другим, сменяет друг друга точно так же, как бывает в действительной жизни, верно понятой и прочувствованной.

Если бы в этой повести направление мысли было настолько же широко и разносторонне при твердом единстве христианского духа, насколько богато ее содержание при высокой простоте и сжатости формы, то я бы решился назвать эту повесть и святою, и гениальною. Но христианская мысль автора не равносильна ни его личному, местами потрясающему лиризму, ни его искренности, ни совершенству той художественной формы, в которую эта несовершенная и односторонняя мысль воплотилась на этот раз.

При таком, видимо, преднамеренном освещении картины, какое мы видим в рассказе «Чем люди живы», рассказ этот только трогателен, но не свят. Он прекрасен, но высшей гениальности в нем нет. Чтобы сделать эту мысль мою более понятною, я должен объяснить здесь, как именно понимаю я оба слова — святость и гениальность. Сперва о святости. Святость я понимаю так, как понимает ее Церковь. Церковь не признает святым ни крайне доброго и милосердного, ни самого честного, воздержного и самоотверженного человека, если эти качества его не связаны с учением Христа, апостолов и св. отцов, если эти добродетели не основаны на этой тройственной совокупности. Основы вероучения, твердость этих основ в душе нашей важнее для Церкви, чем все прикладные к земной жизни нашей добродетели, и если говорится, что «вера без дел мертва»<sup>1</sup>, то это лишь в том смысле, что при сильной вере у человека, самого порочного по природе или несчастного по воспитанию, будут все-таки и дела — дела покаяния, дела воздержания, дела принуждения и дела любви... <...> ...Святые отцы и учителя Церкви согласно утверждали, что «начало премудрости (т. е. правильное понимание наших отношений к Божеству и людям) есть страх Божий»<sup>2</sup>; иные прибавляли еще: «плод же

его любви». Другими словами, та любовь к людям, которая не сопровождается страхом пред Богом (или смирением перед церковным учением), не зиждется на нем, этим страхом иногда даже не отсекается (как случилось у наказанного Ангела графа Толстого), — такая любовь не есть чисто христианская, несмотря на всю свою видимую привлекательность, на искренность порывов, несмотря даже на несомненную практическую пользу, истекающую для страдальцев земных от действий такой любви. Такая любовь, без смирения и страха пред положительным вероучением, горячая, искренняя, но в высшей степени своевольная, либо тихо и скрытно гордая, либо шумно тщеславная, исходит не прямо из учения Церкви, она пришла к нам не так давно с Запада; она есть самовольный плод антрополатрии, новой веры в земного человека и в земное человечество — в идеальное, самостоятельное, автономическое достоинство лица и в высокое практическое назначение «всего человечества» здесь, на земле. Любовь без страха и смирения есть лишь одно из проявлений (положим, даже наиболее симпатичное) того индивидуализма, того обожания прав и достоинства человека, которое воцарилось в Европе с конца XVIII века и, уничтожив в людях веру в нечто высшее, от них не зависящее, заставив людей забыть страх и стыдиться смирения, привело на край революционной пропасти все те западные общества, в которых эта антрополатрия пересилила любовь к Богу и веру в святость Церкви и в священные права государства и семьи. <...>

Любовь к человечеству самовольная, чисто утилитарная, ничем не сдержанная и не направленная есть односторонность и ложь.

Один из глубокомысленнейших учителей Церкви (V или VI века?), Исаак Сирийский<sup>3</sup>, выражается так в одном из своих поучений: «Многая простота есть удобопревратна...» \* Что это такое? Язык перевода очень трудный и оригинальный. Самые мысли Исаака Сирина иногда очень тонки и сложны. Можно легко ошибиться и не так сразу понять его слова. Быть может, и эти строки имеют иное значение, чем то, которое я желал бы им придать; но, во всяком случае, эта мысль: «излишняя простота удобопревратна» (т. е. ненадежна, легко изменяет направление) — очень пригодна и к тому вопросу, который занимает нас теперь.

Излишняя простота основы, крайняя односторонность приема, неестественная односложность идеала — не тверды, «удобопревратны»

---

\* Вот это место «Многая простота есть удобопревратна страха убо потребно есть человеческому естеству, да пределы послушания еже к Богу сохранит. Любы же яже ко Богу подвижет к вожделению делания добродетелей и тою восхищается к делам добродетели. Духовный разум вторый есть естеством (т. е. последует естественнo за) делания добродетелей. Предваряет же обоя страх и любы. И паки предваряет любовь страх» (Слово 5-е, с. 27. Св. Исаак Сир. «Слова духовно-подвижнические»).

в том смысле, что приводят иногда совсем не к тому концу, которого можно было ожидать. Так, например, эта очень простая, односторонне-своевольная, гордо-болезненная любовь к человечеству, шаг за шагом в иных сердцах (особенно юных), превращение за превращением, может очень легко довести до забвения всех других сторон христианского учения — даже до ненависти к ним, к этим «сухим и как бы унижительным, скучным сторонам», до ненависти к покорности, к смирению, к страху, к воздержанию. На этой же степени превращения до кровавого нигилизма, до зверств всеразрушения остается уже мало поприща. Кто смелее, кто злее, кто бессовестнее, нередко даже кто глупее, тот готов.

Вот как «удобопревратна» простота этой любви, не нуждающейся ни в страхе, ни в смирении. Такая любовь хотя нередко и ведет свое начало от привычек христианской мысли (еще носящейся в воздухе), но приводит на простом пути своем к самым антихристианским результатам, и потому тот, кто пишет о любви будто бы христианской, не принимая других основ вероучения, есть не христианский писатель, а противник христианства, самый обманчивый и самый опасный, ибо он сохранил от христианства только то, что может принадлежать и так называемому демократическому лжепрогрессу, в действительном духе которого нет и тени христианства, а все сплошь враждебно ему.

Христос не обещал нам в будущем воцарения любви и правды на этой земле, нет! Он сказал, что «под конец оскудеет любовь...». Но мы лично должны творить дела любви, если хотим себе прощения и блаженства в загробной жизни, — вот и все.

<...>

Люди, поставленные особым Божьим даром на ту степень славы, на которой стоит творец «Войны и мира», должны помнить, что всякая книга, изданная ими, всякая статья, ими подписанная, может судиться не только как произведение мысли и поэзии, но и как нравственно-гражданский поступок. Христианское смирение не требует какого-то притворного «игнорирования» своих сил и своего влияния. Так могут думать только люди, ничего в христианстве не понимающие. Смирение не мешает сознавать даже и гений свой, как не запрещает оно человеку сознавать силу мышц своих или силу молодого здоровья. Оно велит только помнить, что если Бог дал талант, то он и отнимет его завтра, прекратит его действие; что всякая особая сила есть в то же время и немощь или, точнее говоря, источник особых немощей и вообще, что «на всякого мудреца довольно простоты». Посмотрим же, в чем на этот раз граф Толстой, несомненно «мудрый», оказался как бы несколько наивным. И наивность его вдобавок еще вышла не совсем полезною и доброкачественною.

## II

&lt;...&gt;

Во главе рассказа поставлено восемь эпиграфов.

Вот они все:

Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев: не любящий брата пребывает в смерти (I Посл. Иоанна, III, 14).

А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое: как пребывает в том любовь Божия? (III, 17.)

Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною (III, 18).

Любовь — от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога (IV, 7).

Кто не любит, тот не знал Бога, потому что Бог есть любовь (IV, 8).

Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас (IV, 12).

Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге и Бог в нем (IV, 16).

Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит? (IV, 20).

Восемь эпиграфов — и все только о любви, и все из одного первого послания ап. св. Иоанна!

«Многая простота!»

Отчего же бы не взять и других восемь о наказаниях, о страхе, о покорности властям, родителям, мужу, господам, о проклятиях непокорным, гордым, неверующим?.. Все это найдем мы в обилии и у евангелистов, и в посланиях. Если Бог у графа Толстого аллегория или условное выражение только для названия чего-то неживого, для обозначения какой-то отвлеченной общей сущности, которую не отрицают и сами материалисты, то, конечно, можно брать из Евангелия и апостолов только то, что нам нравится. Но если Бог у графа Толстого есть христианский Бог, то есть Св. Троица, Которой Второе Лицо сошло с небес и воплотилось, то всё без исключения, переданное нам евангелистами и апостолами (которым дано право «разрешать и связывать»), одинаково свято и равно обязательно. Петр-апостол поэтому не хуже апостола Иоанна, Иоанн не ниже Павла и т. д.

Они все отвечали, смотря по обстоятельствам, на те сложные вопросы, которые по очереди предлагала им развивающаяся (то есть осложняющаяся) христианская жизнь.

Они были «мудры яко змии»<sup>4</sup> по повелению Божию; ибо простота ума, односложность логического мотива для христианина вовсе не обязательны; обязательна простота сердца, то есть доброта, искренность, покорность Богу и так называемой «судьбе своей, послушание пастырям Церкви, начальникам и т. д.». <...> «А кто преслушает Церковь, тот да будет тебе как язычник и мытарь»<sup>5</sup>, — сказал Сам Спаситель. Чего же больше? Этим повелением мы обязуемся принимать спокойною, сухою, если хотите, верой ума, даже без всяких приятных порывов сердца, всё учение Церкви, обязуемся даже располагать в уме своем элементы его именно в том порядке, в каком располагает их Церковь, например: «Начало премудрости страх Божий (или страх перед учением Церкви, это все равно), плод же его любовь», т. е. та правильная и естественная любовь, которая человеку на земле доступна и больше которой требовать невозможно, не впадая в ошибку многих прогрессистов, воображающих, что несовершенство социального строя и плохое воспитание до сих пор мешало какому-то упоительному катаклизму грядущего любвеобилия... Нет, кто верит и кто готов смиряться пред учением Церкви, тот скоро узнает, до чего трудно и хорошему по природе человеку бороться ежедневно против сухости, лени, утомления, своекорыстия, досады, гордости и т. д., до чего все эти грехи свойственны нам и всегда будут свойственны. Нашей гордости хочется верить в полную исправность человечества на этой земле; нам обидно, что самые лучшие люди так немощны. Но Христос указал, что человечество неисправимо в общем смысле; Он сказал даже, что «под конец оскудеет любовь», т. е. со временем ее будет еще меньше, чем теперь, и потому давать советы любви нужно только с целью единоличного вознаграждения за гробом, а не в смысле сплошного улучшения земной жизни человечества. Любовь к ближнему, основанная на всецелом вероучении, на любви к Церкви, — вот настоящая христианская любовь! Любовь же своевольная, основанная только на порывах собственного сердца, есть очень симпатичная вещь, но... она до того «удобопревертна», что может, как я говорил, дойти даже и до любви к революции.

Сознавал ли все это граф Толстой, когда писал «Чем люди живы?» — и отвечал ли на этот вопрос «одною любовью»? Было ли его логическое самосознание равносильно в этом случае его художественному творчеству? Едва ли. Если б он все это понимал и если бы сила и ясность христианского мышления в нем равнялась изяществу и силе его полунечаянного творчества, то он, вероятно, не поставил бы даже таких однородных восьми эпиграфов, а перемешал бы их с другими совсем иного оттенка.

Я могу, конечно, ошибаться; но сдаётся мне, что автор просто сам просмотрел, что его повесть правильнее его тенденции: мне кажется, он не сознавал, что даже и его любовь основана прежде всего на послушании и страхе, так как Ангел был наказан именно за любовь своевольную...

Понял ли граф, что гениальный повествователь в нем выручил на этот раз весьма несовершенного христианского мыслителя?.. Едва ли...

Если б он желал быть строго верен церковному святоотеческому христианству, то он осветил бы нравственные элементы своей повести равномернее, «и страх Божий» не остался бы у него до такой степени в тени, что надо его искать...

Вероятнее, что он и не имел в виду строго держаться святоотеческих преданий в направлении своем, а желал проповедовать свое, осветить ярче то, что ему больше нравится, в чем он находит больше поэзии и отрады... Иначе, повторяю, и эпиграфы были бы разные, и освещение фактов равномернее... Но пусть будет так: пусть в этом «новом» христианстве будет особый, почти исключительно нежно-розовый оттенок!.. Но вот вопрос: свое ли действительно оно у графа? Ново ли оно? Поражает ли оно кого-нибудь гениальной оригинальностью?..

Нет, оно не свое, оно не ново, оно вовсе не гениально — это новоизобретенное «розовое» христианство!

Мы его знаем давным-давно... Оно проповедовалось Ж. Сандом, с.<ен>-симонистами<sup>6</sup> и множеством других западных европейских писателей, проповедуется и у нас антиправославными органами печати... Это христианство принимает у каждого свой оттенок и переходит иногда (совершенно неожиданно для кротких наставников) в действия злобы и разрушения у тех из их последователей, которые завистливее, решительнее, грубее их или больше их чем-нибудь в жизни обижены. Гениальное должно быть непременно свое и новое; а у графа Толстого ново и, пожалуй, гениально в этом деле только то, что великий оригинальный и русский художник, вопреки весьма дюжинному общеевропейскому сантименталисту, спас самое содержание повести в ней (вероятно, нечаянно), то, чего бы ей не доставало без этого в строго христианском смысле.

<...>

Что сила мышления христианского у графа Толстого стоит в этой восхитительной по изложению повести не на одном уровне с силой художественного выражения, это видно особенно из одного эпизода.

Я говорю о богатом барине, который заказал сапоги на год, а умер тотчас же в возке.

Барин, правда, командует несколько грубо и резко, он, видимо, не верит честности русских мастеров. И в этом неверии он, конечно, прав. И Семен, хотя сам человек честный, вероятно, знает, что барин, вообще говоря, имеет основания плохо верить в прочность русской работы. Он за тон этот и не сердится... Но что говорят они оба с женой, когда этот толстый, сильный и богатый, привыкший ко власти человек вышел из избы, «ударившись нечаянно головой о низкую дверь»?.. Что, они жалеют его? Что, им стало страшно за голову этого человека, который вреда им никакого



не сделал, а, напротив того, доставил им случай выгодного труда? О нет! Они злобно и грубо завидуют его здоровью, его силе, его богатству..

Вот их противный разговор.

Отъехал барин. Семен и говорит:

— Ну, уж кремняст! Этого долбней не убьешь. Косяк головой высадил, а ему горя мало.

А Матрена говорит:

— С житья такого как им гладким не быть! Этого заклепа и смерть не возьмет.

Какие это чувства? Хорошие? Христианские? Нет, конечно. Из подобных антихристианских чувств зависти и самой легкой, преходящей, мгновенной злобы развиваются мало-помалу все те требования «прав без обязанностей», которых плоды слишком известны, чтоб о них здесь распространяться. Нужно только, чтоб эти хотя и грешные, но все-таки минутные движения Семенов и Матрен нашли себе оправдание в теориях лжепрогресса, и вот односторонне понятая, «удобопревратная» любовь становится иной раз нечаянно орудием злобы, чуть не научно оправдываемой!

Но чем же здесь виноват граф Толстой? — спросят меня. — Он не отвечает за дурные движения своих действующих лиц; он доказал только и эту естественную сцену, какой он великий художник! Видимо любя своего сапожника и жену его, он остался беспристрастен и не скрыл в этом случае их порочного, не христианского движения!..

Да, это так; но ведь я и сам говорю, что художественный гений его несоразмерен с весьма среднею силой его христианского мышления, со степенью его евангельского понимания.

Если б эти две силы у него были ровнее, то он, вероятно, не забыл бы упомянуть, что Ангел опять услышал в избе ужасное зловоние греха, подобно тому как он слышал его в те минуты, когда Матрена бранила мужа и не хотела его накормить. Смрад во время завистливых выходов сапожника и его жены должен бы быть сильнее даже, чем тогда; ибо гораздо естественнее и простительнее бедной женщине испугаться и рассердиться на мужа при виде неизвестного и раздетого бродяги, с которым приходится делить последний кусок хлеба, чем расплатиться ни с того ни с сего завистью на человека только за то, что он посытее, поздоровее и потолще их с мужем. Настоящая христианская любовь не имеет и тени одностороннего демократизма. Она не спускается только сверху вниз по социальной лестнице и не разливается исключительно по плоскости эгалитарной казенщины; она сияет во все стороны одинаково. И есть много случаев, в которых высший, богатый, одаренный властью гораздо достойнее и сострадания, и сочувствия, и всех других движений нашей любви, чем неимущий или даже раб.

Молодой граф Ростов, который в «Войне и мире» молодцом одинешенек поколотил мужиков, бунтовавших против беззащитной и, заметим, некрасивой княжны Болконской (которую он даже и видел в первый раз), обнаружил в этом случае больше христианской любви, чем, например, французский живописец Давид, когда он на вопрос доброго, слабого, уже развенчанного и униженного Людовика XVI: «Когда вы окончите мой портрет?» — отвечал: «Я буду писать портрет тирана только тогда, когда голова его будет передо мной на эшафоте!»

Каждый умный и православный простолюдин поймет Ростова и назовет его, не без сочувствия, «лихим барином!». А Давиду стоило бы за это слово дать несколько десятков великорусских прежних плетей!

Из жизни православного нашего народа можно много привести примеров истинной христианской любви снизу вверх... <...>

<...> ...Граф Толстой не выдержал даже до конца мистического характера Ангела и забыл о необходимости, в которую он поставлен, чувствовать смрад смерти всякий раз, когда люди грешат недостатком любви, как грешил сапожник с женой, завидуя барину и злобясь на него только за то, что он толст и здоров. Чтобы не забыть об этом, нужно бы только знаменитому писателю нашему прочесть с покорностью и смирением те места из апостолов Павла и Петра, где они даже несчастным рабам римским строго и с сильным чувством приказывают любить своих господ и повиноваться им не только в глаза, но и за глаза для угождения Богу (Петра 1-е послание, гл. 2; Павла к колоссяям, г. 3; Иуды 22... и к одним будьте милостивы с рассмотрением, 23, а других страхом спасайте!)...

Нельзя христианину предпочитать Иоанна Петру или Иакова Павлу, потому что они больше угодили нашему поэтическому капризу или нашей сантиментальности. Такое одностороннее освещение христианства даже некоторых детей, читавших повесть графа Толстого, удивило и запутало... Эти умные дети стали спрашивать у старших своих «За что же Ангел был наказан, когда он пожалел эту женщину? Ведь это любовь?..» Я спрашиваю, легко ли было на это отвечать большинству нынешних родителей, стыдящихся страха Божия? И не было ли плохое объяснение их источником какого-нибудь дальнейшего вреда для детей, прочитавших эту книжку, изданную Обществом распространения полезных книг?

Нет, господа новаторы наши, далеко вам до истинного христианства — глубокого и всестороннего, твердого и гибкого в одно и то же время, идеального до высшей степени и практического до крайности!

Ваши знамена — это жалкие, растрепанные обрывки христианства, на которые и смотреть не хочется тому, кто хоть раз видел во всей красе его настоящий, широко веющий стяг Православия.

<...>